

Воспоминания посвящения — так же, как некогда обряды, обустроивают работу души. Помогают принять, встроить в свою жизнь то, с чем мы расстаёмся навсегда. Принимая — мы уже не теряем.

Публикуем воспоминания Геннадия Герценовича Копылова о своём отце, русском интеллигенте в высшем смысле этого слова. Копылов-младший пишет о том, сколь сильно отцовское влияние предопределило его собственную жизнь и траекторию развития его интересов и областей приложения своих сил.

Геннадий Копылов был известен многим как организатор журнала «Кентавр», ключевого издания для методологического движения в начале XXI века. В обществе, где каждый сам за себя и более всего занят развитием своих собственных проектов, Геннадий Копылов умел объединять яркие индивидуальности, сводил их в одной «виртуальной комнате» журнала. Так, что из пучка индивидуальных траекторий и программ возникало единое интеллектуальное



Геннадий Копылов,

учёный, методолог и научный журналист,
участник Московского
методологического кружка и
методологического движения с 1981 года.
С 1990 года редактор,
а с 1992 и до конца жизни —
главный редактор альманаха «Кентавр».
С 1998 года до конца жизни —
главный редактор сайта
«Методология в России».
Автор ряда статей по методологии
и философии науки.

Послесловие сына*

движение. А это задача сложнее тех, которые ставит перед нами «саморазвитие». Внимательной работой редактора он буквально формировал сообщество. Как оказалось, единство созданного стало зависимым от жизнестойкости самого Копылова. Геннадий Копылов ушёл от нас в 2006 году. Этот текст публикуется в память о нём и в продолжение той работы, которой он посвятил свою жизнь — работы по продолжению начатого до нас.

* Послесловие к книге Герцена Исаевича Копылова «Евгений Стромьинкин. Четырёхмерная поэма». Источник: www.circleplus.ru/content/communicarium/people/memoirs/5.

О том, что мой папа — физик, и что он пишет стихи, я узнал лет в пять. Он тогда написал для меня цикл про Боря-капитана, который я с удовольствием запомнил наизусть, скорее всего — во время долгих лесных велосипедных прогулок, сидя на переднем сиденье нашего чёрного «Харькова».

Выросши до отроческого возраста, я прочёл его «Евгения Стромынкина» — сразу после «Евгения Онегина». Потом, по глухим упоминаниям (вроде: «Как, как называется эта песня Галича? «Концерт для голоса с балалайкой»? Ну и ну — прямо как моя поэма!»), я понял, что у него есть ещё одна, то ли скрываемая, то ли неподходящая для детского чтения. Набравшись храбрости, я попросил у него «Четырёхмерную поэму», прочёл и был сходу покорён и зачарован. Она восхищала остроотой и остроумием. Тенью любимого Салтыкова-Щедрина, витающего над каждой страницей. Фантастическим поворотом сюжета, греющим юношескую душу. Резким витийством. Бесподобными каламбурами. Сциентизмом, с которым я тогда носился. Ненавистью к властному невежеству и безмыслию. Это был концентрат из «Понедельник начинается в субботу», «Архимелаг ГУЛАГ» и «История одного города». А дубненские реалии? А ощущение причастности к запретному? Шестнадцатилетний мальчик вдруг оказался в том эпицентре, где творилась история и литература (я был убеждён, что самое-самое происходит в андеграунде, а не на виду). Жаль, что своим восхищением невозможно было ни с кем поделиться...

Вскоре после этого, 26 марта 1975 года, папа отмечал своё пятидесятилетие. Он читал гостям отрывки из «Стромынкина» и «Поэмы», Юлий Ким декламировал стихи про Боря-капитана с такой интонацией, что они казались густейшей антисоветчиной. А я подарил папе иллюстрации к машинописному изданию «Четырёхмерной». Мне нравилось всё, что он делал, и я по мере возможностей старался включиться. В детстве я с удовольствием раскладывал экземпляры рукописей, потом — вписывал формулы, потом — ставил точки на графики. В десятом классе прочёл с карандашом в руках его популярную книгу «Всего лишь кинематика» (потом это очень помогло мне). Как только научился ФОРТРАНУ, сразу же начал получать от него вычислительные задачи (мы ходили учиться в ВЦ дубненского Объединённого института ядерных исследований, тогда это было редкостью). Было очень приятно читать

в конце его препринтов благодарности «to G.Kopylov, Jr.» за проделанные расчёты. Его похвала окрыляла.

Однажды папа долго разбирал со мной одну школьную алгебраическую задачу, а я всё старался закончить это дело поскорее. Он расстроился от такой моей несерьёзности и написал статью про все те интереснейшие вариации, которые он с азартом наоткрывал в простенькой задачке. Статья — потом её опубликовал «Квант» — была в виде диалога, и нерадивый школьник имел мой инициал, а толковый — инициал моего друга. На этот раз было обидно. Но он, как я теперь понимаю, зря волновался: я жадно впитывал его отношение к жизни, к работе, к людям. (Другое дело, что признать это тогда, в шестнадцать, было выше моих сил.) Он был для меня сверхавторитетом. От одного его слова мне могла разонравиться одноклассница или книга; его рекомендации по поводу были для меня первостепенными; его мнение по поводу внешней и внутренней политики СССР элементарно перебивало пропаганду; его китайская нравственность была для меня безальтернативной. Как вообще можно жить иначе, чем он? Не знаю, понимал ли он это, но влиял он на меня всегда точно, ни в коем случае не пережимая. Потому-то, наверное, все эти случаи врезались в память как микроперевороты, ступени. Он передал мне отвращение к насилию, страсть к умствованию, к интеллектуальным задачам, к книгам, любовь к детям. Принцип неучастия во власти — его влияние; теперь, когда я это понял, карьеру делать уже поздно. По его одному-единственному совету я, быстро почувствовавший вкус к программированию, не стал им заниматься профессионально: «Это же только инструмент», — сказал он. — «Нельзя же всю жизнь изучать свойства логарифмической линейки». Этого мне хватило.

«Мне лирика не по плечу», — он знал это про себя точно. Любовные сюжетные линии и в «Стромынке», и в Поэме точно отражают то целое-дренное отношение к женщине, которое сформировалось у него со студенческих лет. Он не чувствовал оснований изменять почти пуританским нормам жизни послевоенной интеллигенции. Тут я тоже его — счастливый или несчастливый? — наследник, такой же наивно убеждённый семьянин.

Он подарил мне вкус к походной, непритворной, беспричинно счастливой жизни, к дальним велосипедным и байдарочным вылазкам, к уютным беседам. Я научился печатать на

машинке, чтобы плодить его стихи... Он любил переводить (Я.А. Смородинский взял его в команду переводчиков блестящих «Фейнмановских лекций по физике») и ценил это умение в других — перевод был моим первым приработком и стал одной из профессий. Если я что-то понимаю в переводческом ремесле (и в английском языке), то произошло это из семян, им заброшенных.

Гипертрофированная честность, отсутствие житейской хитрости — тоже его черта. В году 1966-м он взялся разоблачать то ли сознательного жулика, то ли просто чего-то недопонимавшего дубненского физика Б., который с помощью своего метода открывал одну новую частицу в неделю. Папа на ЭВМ сгенерировал случайную серию распадков, где никаких новых частиц не могло быть в принципе и на ней тоже

лать, подошёл папа, посмотрел, спросил, что это. Я объяснил, он увлёкся, я тоже, мы начали переводить уже по-настоящему и сделали дело хорошо. Опомился я только, когда увидел чистовой листок с переводом его почерком — это же было олимпиадное задание! Сдавать его теперь было нельзя... Папа страдал не меньше меня — по собственной дурости и увлекательности мы с ним запороли моё участие в соревновании. Ничего не оставалось, как назавтра публично в классе объявить Беллу, что я схожу с дистанции. Он, конечно, расстроился. Но папа позвонил ему, всё объяснил и извинился. Уже понятно, как он любил возиться со мной и с сестрой. «Возиться» — именно это слово он употребил в своём дневнике, который я прочёл много позже. В тот день ему удалось, немного сосредоточившись, додумать что-то интересное, и он сокрушался, сколько времени проходит даром в разных побочных делах или когда он «возится» с детьми. Но, по-моему, он просто не мог иначе. Учителство, иллюминатство было у него в крови — недаром в детстве он мечтал быть только учителем, недаром разбор задачки со мной он превратил в статью для всех желающих. Он с увлечением работал в вечерней физматшколе при ОИЯИ, писал — «неожиданно для себя» — популярную книгу по ядерной физике, начал рукопись «Квантовой механики для школьников». Если он что-то понял, то он должен был объяснить это другим, а лучше всего детям: они легче могут зажечься, могут проникнуться этой неземной красотой самого процесса понимания, когда перед тобой внезапно распахиваются новые миры...

Мой папа умер, когда мне было восемнадцать, и уже почти четверть века я живу без него. Живу с тем, что он мне оставил, с тем, что я взялся поддерживать и хранить. Понятно, что это не основное содержание моей теперешней жизни, и эта лента давно превратилась в ниточку — но ниточка, кажется, не порвалась...

Недавно я нашёл на задней полке «451 по Фаренгейту» Брэдбери и взялся перечесть, вспомнив, что в конце школы читал её жадно и часто. Конечно, я всё позабыл: имя героя, имя девушки, сюжетные ходы. Но поразило меня неприятно, вслучило неизвестные для меня самого пласты души — то, насколько эта книга меня запрограммировала, определила мои действия на много лет вперёд. Я, простак, и не подозревал, до какой степени тогда, в отрочестве, отождествил себя с её героем. Да что с героем — с её героиней!

Напомню сюжет: техно- и медиакратическая страна. Человека в ней стре-

Послесловие сына

сделал много открытий по методу Б. На семинаре Б. был посрамлён, но статья об этом сравнении света не увидела — её зарубили прагматично мыслящие начальники. Зато мне, восьмилетнему, он рассказывал всё — и про ЭВМ, и про распады частиц, и про имитацию по методу Монте-Карло, и про то, что такое честность и научная добросовестность. А про завернутые статьи не рассказывал — он не стремился разоблачать и «открывать глаза». Рядом с ним они раскрывались сами.

А вот ещё. Классе в одиннадцатом наш гениальный учитель английского, Давид Белл, устроил нам «марафон». Были разные задания, день за днём, составлялись баллы, висела большая таблица, и у меня были шансы на что-нибудь призовое. Очередным заданием Давид Натанович поставил домашний перевод полустраничного текста. Я начал его де-

маться оторвать от любых культурных детерминант его существования и целиком подчинить мыльному телевидению и рекламе. Злейший враг — книги, они позволяют задуматься или замечтаться неподконтрольно; их жгут пожарные. Главный герой — пожарный Монтэг. Одинажды, сжигая книги, он прячет томик, оказывающийся Библией. Он успевает прочесть только Экклезиаст — его разоблачают. Дом его уничтожают, жена бежит в панике, он сам спасается чудом от публично-интерактивной облавы. И оказывается среди бродяг, лесных жителей, каждый из которых хранит книгу, помня её наизусть. Так Монтэг становится Экклезиастом.

Оказывается, не я читал эту книгу — это она меня писала, формировала каждым своим словом. Брэдбери писал о книгах, обысках, сожжениях, а я читал: «тамиздат», «донос», «диссидент», «глушилки», «КГБ». Пустейшее TV и идеологический контроль проецировались почти автоматически на советское телевидение, отрезанность от прошлого — на жизнь за железным занавесом. И хотя, как теперь понятно, это был взгляд увеличенными от «общего страха» глазами, важно было именно не поддаться ему до конца. Как? Спасение, самостояние было в отказе от прожёванной вышестоящими товарищами жвачки, в серьёзном чтении, в том, чтобы в жёстких обстоятельствах превратить себя в Хранителя (жаль, что Толкиен дошёл до нас только через лет пятнадцать — ух, мы бы в нём всё поняли про Тьму с Востока и про испоганенный Мордор!). И когда эти обстоятельства пришли, я стал хранителем в полном согласии с впечатавшейся в меня схемой. В тот же августовский день 1976 года, когда папа не пришёл в себя после третьего инфаркта в дубненской больнице, почти в тот же час, я собрал чемодан с крамольными книгами и рукописями и отнёс его самому верному и не замешанному ни в чём такому человеку, какого я знал. Я спешил потому, что не представлял себе, есть ли ещё где-нибудь или у кого-нибудь хоть один экземпляр «Четырёхмерной поэмы». (За «Стромынки» я не беспокоился — я знал, что он известен, что у папы есть масса сокурсников, у которых есть копии. Да и вообще «Стромынки» по тем временам была вещь безобидная.) А вот «Четырёхмерная»... В восемнадцать лет я практически не знал папиных московских диссидентских знакомых. Не представлял, у кого вообще можно спрашивать про столь злонамеренную Поэму, идущую под

псевдонимом Оскар Биттель. И если бы наши экземпляры были изъяты, потеря была бы, кажется, непоправима. (Потом Юлий Ким мне вскользь сказал, что его копии ещё в начале семидесятых пропали в КГБ.) И приходилось хранить её изо всех сил.

Через год со всеми предосторожностями я наговорил Поэму на магнитфонную плёнку и по ней вызубрил наизусть (я знал, что так мне учиться лучше всего). Если бы тогда уже были плееры, я бы учил Поэму в метро, но я повторял её так, в пустых местах вслух, не реже раза в месяц. Гарантия теперь была почти полная. Летом 1985-го, когда в стране что-то микроскопически стало сдвигаться, я сделал машинописное выверенное полное собрание сочинений Г.И. Копылова, переворотив весь архив; теперь я мог сравнить варианты, уточнить даты, просмотреть черновики. Тогда же я обнаружил многое из «совсем уж рукописного»: начатые воспоминания «Не обобщай меня без нужды», стихотворения, отрывки... Я собрал, теперь уже познакомившись с папиными друзьями, несколько десятков писем. Тогда же начал прикидывать и узнавать, кому бы можно было передать рукописи на Запад — в виде чёрно-белой негативной фотоплёнки, конечно. Где ты был тогда, интернет XIX века?

Передать было с кем, и это было нетрудно. Важней было понять, кому. Поэма и Стромынки — это не лирика, и не обычная публицистическая антисоветчина. Это — сайентистская сатира; не каждый возьмётся её читать, и не каждый — издавать. Наконец, я вспомнил о Валерии Турчине, редакторе сборников «Физики шутят» и «Продолжают шутить» (1964 и 1967 гг.); в последний печатался папа, и у нас был экземпляр, подписанный по кругу четырьмя редакторами. Турчин о Копылове знал, это было ясно, и мои посылки отправились к нему. Опубликовать отца в России тоже очень хотелось. С года 1987-го я принялся осаждать журналы, издательства, известных литераторов: кто заинтересуется, возьмёт, порекомендует к публикации... КПД всей этой деятельности оказался крайне низким, руки у меня то и дело опускались, но около пяти-семи публикаций пробить всё-таки удалось. А сколько интересного мне пришлось при этом переузнавать!

В журналах «Наука и жизнь» и «Химия и жизнь» были рубрики типа «Литературное творчество учёных», и туда я отдал небольшие подборки стихотворений и отрывков. Они были

приняты на ура, и эти публикации довольно быстро состоялись. Один из редакторов «Х и Ж» начала работать во вновь открывшемся ежемесячнике «Совершенно секретно», где благодаря ей была напечатана публицистика отца. А вот в журнале «Юность», куда я отдал «Четырёхмерную поэму», заявили, что я опоздал — к 1988 году, по их мнению, она была уже недостаточно острой. В 1991 году «Знамя» опубликовало большой отрывок, примерно десятую часть «Четырёхмерной», но эта публикация канула в никуда — как раз тогда толстые журналы перестали читать.

Вообще, критики у этих публикаций не было никакой. За одним исключением: ведущий критик Р. в одном из своих обзоров в «НГ» 1991 года откликнулся на мюнхенское издание, процитировав пару четверостиший и заявив, что

Стромынкина», но... «Что за текст Вы мне дали?... Я в студенчестве восхищался такими строками:

И сделалась совсем иною
Младых филологинь краса —
Улыбка томной, чуть глупею,
Всё испытанными — глаза.

А здесь этого нет. Нет. Нет, я не могу ничего сделать. Извините!»

Конечно, этого четверостишия не было: я хотел опубликовать текст последнего прижизненного издания — папа его сделал году в 1974, а М., конечно, помнил первое, ходившее под псевдонимом (Георгий Исаев). Он встал на страже Своего Стромынкина. Зато позиция «Архимеда» мне вполне понятна. «Архимед» — это студенческий театр Физфака МГУ 1950-60-х годов, оттуда — песня «Дубина» и прочие вершины физического фольклора. Его активисты в основном работают в Курчатовском институте. Они проводят юбилейные концерты, издают в меру сил свои сборники и т.д. Они числят «Стромынкина» одним из образцов физического искусства и даже признают канонический (1974 г.) вариант поэмы. На этом их интерес к творчеству Г. Копылова заканчивается. Приватизировав свою часть его биографии, они не обращают внимания на всё остальное. Но «свою» часть они знают замечательно — подробнейшие комментарии А. Кессениха к публикации «Стромынкина» в журнале «Вопросы истории естествознания и техники» (1997 г.) уверенно вводят первый вариант поэмы в круг документов новейшей истории физики, МГУ, идеологической борьбы в СССР 1950-х годов.

К счастью, многие и многие друзья и коллеги отца приняли горячее участие в сохранении его литературного наследия. Я уже назвал некоторых из них, а ещё очень помогли в разные годы Т. Баева, Б. Болотовский, Б. Васильев из Дубны, Ю. Данилов, Ю. Диков, В. Левин, А. Левинтов, Вл. Любошиц, Я.А. Смородинский, Е. и В. Тарасовы, М. Подгорецкий, Е. Фейнберг, М. Харитонов. Когда писатель Марк Харитонов прочёл впервые «Четырёхмерную» — он не был знаком с ней раньше — его поразили строки:

Ведь одно из ценных качеств
Наших нравов и традиций
В том, что даже мёртвым значась,
Можно как живой трудиться.

«Как он угадал про себя?» — сказал он. В Поэме это относилось к Платонову,

Послесловие сына

трагедия Г.И. Копылова в том, что он работал в одиночку и существовал помимо литературного процесса. Да-да, он мне говорил что-то похожее за пару лет до этого, когда возвращал папины рукописи. Я передавал ему их в надежде получить рекомендацию или хотя бы совет — какое из издательств может заинтересоваться «Четырёхмерной». Энтузиазма у него эти тексты не вызвали. Он стоял на страже интересов Большой Русской Литературы, и не счёл поэмы достойными к рекомендации. И вообще, на страже чьих только интересов не оказывались те, кого я просил что-то сделать для публикации! Сейчас это лишь забавно, а тогда давало массу пищи для переживаний... Издательство «Наука» готово было опубликовать Г.И. Копылова, но по очень хорошей рекомендации. Я отправился к академику М. Да, он помнил и любил «Евгения

Булгакову, и на такое сопоставление я не решался. Но папа, действительно, вставал передо мной как живой — из рукописей, которые я находил и разбирал, из писем, которые передавали мне его друзья, из тех отрывочных воспоминаний, которыми они делились.

«Я поздно начал», — писал он в дневнике. Действительно, с 1949 по 1956 год, когда отцу было 25-30 лет, он не занимался физикой, а преподавал в женской школе родного Днепропетровска — посёлка Каменки («Здравствуй, город Знаменка... вы, говорят, не коренной», — это из «Четырёхмерной»). Только в 1956-м ему помогли устроиться в Дубне, и лет пять его научные успехи были слабыми. Он нащупывал путь, заново учился, вставал на ноги. Он встал — но сталинский СССР отнял у него десять лет плодотворной жизни.

А потом — прямо-таки взлёт: 1963 г. — метод моделирования многочастичных распадов, 1964 г. — кандидатская диссертация, перевод «Фейнмановских лекций», 1966 г. — популярная книга, признанная лучшей в году, 1968 г. — докторская, 1969 г. — монография, ставшая сегодня классическим учебником, 1970 г. — «Четырёхмерная поэма». Восемь лет зримых научных и просто творческих, человеческих успехов. А ещё — близкое знакомство с московскими диссидентами и поэтами, самиздатская публицистика под псевдонимом Семён Телегин (вдохновившая Солженицына на «Образованщину» — кстати, Телегин был обозван в ней «весельчаком и атеистом»). А ещё — любовь к той, которая стала музой «Полёта в невесомость»... В сорок лет он пережил не кризис, а подъём. Когда я, оглядываясь на его жизнь, увидел воочию этот период успехов и удач, мне стало страшно: смогу ли я так в сорок? И самое главное: понимал ли он, что выходит к новым рубежам? Оказывается, понимал: поздно найденное в рукописях и написанное ещё чернильной ручкой стихотворение «К самому себе» — как раз об этом:

Больно всё просто, слишком всё ясно,
словно для взрослых — детские ясли,
словно влип ты, друг, в бесконечный круг,
впрямь левитом стал, деловитым стал:

сочинил статью, подзубрил Четью,
сотворил обзор, подзакрыл бозон,

поломил горбом, предложил прибор,
ни случайных шуток, ни скучальных скук,

всё известно, всё размечено,
дело есть, а делать нечего.[...]

Шёл я точно, не сворачивал,
темпы мощные наращивал:

может было так и надобно —
напрямик ломить по надолбам,

взять науку как Бастилию,
ухватить подход и стиль её,

ощутить её покорною,
встать, как на плиту опорную...

А теперь над твёрдой почвою
я себя другим попотчую.

Раз упёрся — разогнись-ка я!
Ты прощай, дорожка узкая!

Я пойду другими румбами,
непредуманными, трудными [...].

завернусь плащом, поведу плечом
и пойду на свет. Пусть мне смотрят вслед.

Пойдя «другими румбами», он не стал «практикующим диссидентом»: он был боязлив, наивен и бесхитростен. Но тайны у природы вырывал смело, мысли — додумывал до конца, антисоветчину — писал и распространял, значок с израильским флагом во время Шестидневной войны — носил, письма — подписывал, деньгами — помогал, а его речь на могиле Ильи Габая вспоминают все, кто её слышал. А я вспомню слова профессора Д.С. Чернавского на папиных поминках: «Гера был рыцарем правды. А правда по-русски — это и «истина», и «справедливость».

Я вспоминаю о нём, и у меня пропадает ощущение реальности: папа — рядом, близко, здесь. Кто знает, может быть, и читатели почувствуют рядом с собой тень — или хоть намёк на тень — этого весёлого, честного и талантливого человека.